

ГЛАВА 1

Малышка

Они хотели мальчика, а родилась я.

Девочка. Третья дочка. Последыш.

«Хорошо, что у тебя хоть голова соображает, а то внешне и посмотреть-то не на что», — часто говорит мне мама.

Наверное, она имеет в виду, что красавицы из меня не вырастет. Или этим своим комплиментом под видом критики мама побуждает меня учиться еще усерднее? Вроде бы предостерегает, а на самом деле мотивирует. А может, хочет уберечь от неких одной ей ведомых бед. Или старается натолкнуть на какую-то хорошую мысль, кем мне стать, когда вырасту.

«Готовить поучишься как-нибудь в другой раз, — говорит мама, когда я прошу ее научить меня заплетать халу из сдобного теста, или жарить курицу, или варить вишневое варенье, которое она летом закатывает в банки и прячет подальше, чтобы его хватило на весь год. — Тебе в школе учиться надо».

Этим утром я стою перед зеркалом в ванной комнате у нас дома и чищу зубы, собираясь в школу. Я изучаю свое отражение. Неужели у меня и вправду не на что посмотреть? Я балерина и гимнастка, у меня подтянутое

мускулистое тело. Мне нравится, какая я крепкая. Нравятся вьющиеся каштановые волосы, хотя, конечно, самая красивая у нас Магда — моя старшая сестра. Но когда я всматриваюсь в свои глаза в зеркале, когда погружаюсь в их таинственные глубины нашего семейного цвета морской волны, то перестаю понимать, кого вижу перед собой. Мне кажется, будто я вышла за пределы своей жизни и со стороны заглядываю в нее, словно наблюдаю за героиней романа, чья судьба пока не определена, чьи душа и натура еще только раскрываются.

Я недавно дочитала роман «Нана» Эмиля Золя, который стянула с маминой полки и втайне проглотила чуть ли не залпом. И теперь у меня никак не выходит из головы заключительная сцена. Блистательная Нана, звезда театральных подмостков, чьей благосклонности наперебой добивались все парижские аристократы, лежит больная, в одиночестве, она умирает от оспы, и все ее тело изрыто язвами. В том, как автор описывает его, мне видится что-то зловещее. Хотя еще до того, как Нана заболела, когда она была в расцвете своей роскошной красоты и притягательности, ее тело таило в себе опасность. словно оружие. Грозное, пугающее. Что-то, чего следовало остерегаться.

И тем не менее Нана пользовалась бешеным успехом у мужчин. Ах как я мечтаю о такой вот страстной любви! Чтобы все мной восхищались, чтобы видели, какое я сокровище. А вместо этого все только и делают, что учат меня остерегаться.

«Умывание очень похоже на мытье посуды, — однажды говорит мне мама. — Начинаешь с хрустала, потом постепенно доходишь до кастрюль и сковородок». Самое грязное, значит, оставляешь напоследок. Даже мое собственное тело и то, выходит, внушает подозрение.

Магда устала дожидаться своей очереди и в нетерпении колотит в дверь ванной. «Хватит уже мечтать, Дицу-ка», — сердится она. Она называет меня прозвищем, которое придумала мама. Ди-цу-ка. Бессмысленный набор звуков, но у меня всегда теплеет от него на душе. А сегодня имя звучит резко, точно лязгает.

Я пулей проскакиваю мимо раздраженной сестры и юркаю в нашу общую спальню, чтобы одеться, а сама все еще размышляю о девчонке в зеркале — той, кто жаждет любви. Может, любви, о какой я так страстно мечтаю, и вовсе не бывает. Все свои тринадцать лет я стежок за стежком сшиваю воспоминания в картину, которая отображает меня такой, какая я есть, — судя по всему, ущербная, нежеланная и лишняя в своей семье.

Например, как в тот вечер, когда мне было семь лет и родители принимали гостей. Меня отправили долить питьевой воды в кувшин, и, стоя на кухне, я слышала, как они шутили: «Ее-то нам только и не хватало». Они имели в виду, что были полноценной семьей еще до того, как я появилась на свет. У них уже была Магда, которая играла на фортепьяно, и была Клара — юное скрипичное дарование. Я же ничего не добавила в копилку семейных

талантов. Я оказалась ненужной, не дотягивала до их уровня. Я не годилась для этой семьи.

В восемь лет я проверяю на практике созревшую у меня теорию собственной ненужности и решаю сбежать из дома. Вот и посмотрим, думаю я, заметят ли они вообще, что я пропала. Вместо того чтобы идти в школу, я сажусь на трамвай и еду до дома бабушки и дедушки. Я доверяю им — маминим отцу и мачехе — и надеюсь, что они не дадут меня в обиду. Они ведут с мамой нескончаемую войну из-за Магды, заступаются за нее и тайком подбрасывают домашнее печенье в ящик сестриного комода. Они мое спасительное прибежище. Они держатся за руки, чего я никогда не замечала за родителями. Утешение, уют и покой — вот что я чувствую с ними. В их доме витают аппетитные ароматы грудинки и запеченной фасоли, сладких булочек, чолнта — традиционного субботнего сытного горячего блюда из мяса, овощей, крупы и бобов, которое бабушка в Шаббат отдает приготовить в пекарню, поскольку ей, как правоверной иудейке, в этот день не полагается пользоваться домашней печкой.

Дедушка и бабушка мне рады. Перед ними мне не нужно притворяться или кого-то изображать, чтобы заслужить любовь или похвалу. Всем этим они щедро одаривают меня просто так, и мы проводим восхитительное утро на кухне, объедаясь ореховыми рулетиками. А потом раздается звонок в дверь. Дедушка идет открывать. И тут же прибегает обратно. Он глуховат и оттого подает мне сигнал тревоги громче, чем следует,

он почти кричит: «Прячься, Дицука! Твоя мать пришла!» Стараясь защитить меня, он только выдает мое присутствие.

Что больше всего задевает, так это выражение маминого лица, когда она меня замечает. Она не просто удивляется, увидев меня в доме у бабушки и дедушки, — мне кажется, что сам факт моего существования застаёт ее врасплох. Точно я не такая, какой она рассчитывала меня видеть.

Тем не менее именно я обычно составляю маме компанию на кухне, когда отец уезжает в Париж по своим портняжным делам и возвращается с чемоданами шелков, а мама встречает его с суровой настороженностью, беспокоясь, что он потратил слишком много денег. Мама не приглашает в гости друзей. В нашей гостиной нет места легкой болтовне, разговорам о книгах или о политике. Я единственная в семье, с кем мама делится секретами. Я очень дорожу нашими с ней посиделками.

Как-то вечером, мне тогда было уже девять лет, мы с мамой остались одни на кухне. Помню, как она заканчивает сворачивать штрудель, — я наблюдаю, как она вымешивает и раскатывает тесто, расстелив его на обеденном столе, как тяжелое льняное покрывало. «Почитай мне», — просит мама, и я приношу с прикроватной тумбочки в ее спальне потертый том «Унесенных ветром». Когда-то мы с ней уже прочитали эту книгу от первой до последней странички. А теперь начали заново. Я задерживаю взгляд на таинственной надписи, сделанной

кем-то по-английски на титульном листе. Почерк явно мужской, но точно не папин. По поводу этой дарственной надписи мама отделялась скупой отговоркой, что книгу подарил один человек, с которым она была знакома по работе в Министерстве иностранных дел еще до встречи с папой.

Мы сидим на стульях с высокими прямыми спинками по обе стороны от дровяной печки. Читать с мамой — блаженство, ведь в это время мне не приходится делить ее с кем-нибудь еще. Я с головой погружаюсь в слова, сюжет и прекрасное ощущение, что мы с мамой одни в целом свете. Вот Скарлетт под конец войны возвращается домой и узнаёт, что ее мать умерла, а отец от горя почти помешался. «Бог мне свидетель, — восклицает Скарлетт, — я никогда больше не буду голодать!»

Мама прикрывает глаза и откидывает голову на спинку стула. Как мне хочется забраться к ней на колени. Положить голову ей на грудь. И чтобы она губами касалась моих волос.

«Тара... — произносит мама. — Америка... Вот бы на нее посмотреть». Вот бы мое имя звучало из ее уст с такой же нежностью, какую она приберегла для страны, которой в глаза не видела. Соблазнительные ароматы маминой стряпни смешиваются в моей голове с драмой голода и пиршества — всегда, и даже в праздники, такие желанные. Уж не знаю, мама ли так тосковала по ним, я ли, а может быть, мы обе.

Мы сидим по обе стороны от печки, в которой потрескивает огонь.

«Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе...» — начинает мама.

При звуке ее голоса я замираю, боясь, что, если пошевелюсь, она оборвет свой рассказ.

«Когда мне было столько лет, сколько сейчас тебе, маленькие дети спали все вместе в одной кровати, а я спала с мамой. Как-то утром я проснулась оттого, что меня звал отец: “Илонка, давай просыпайся и разбуди свою мать. Она ни завтрака мне не собрала, ни одежды не приготовила”. Я повернулась к маме, она лежала рядом со мной под одеялом. Потормошила ее, но она не двигалась. Она была мертва».

Мне хочется разузнать каждую подробность о той минуте, когда дочь проснулась рядом с матерью, которой уже лишилась. И столь же сильно мне хочется ничего об этом не знать. Даже мысль о том меня слишком страшит.

«Маму похоронили в тот же день, и мне все время казалось, что ее опустили в землю живой. А вечером отец велел мне приготовить ужин на всю семью. Что я и сделала».

Мама умолкает, а я жду продолжения. Жду, чем закончится ее история, послужит ли уроком мне на будущее или утешит, придаст мне сил?

«А теперь в постель», — вот и все, что я слышу от мамы. Она склоняется подмести скопившуюся под печкой золу.

Из коридора за дверью раздаются шаги. Узнаю знакомый запах папиного табака еще до того, как до меня доносится звяканье его ключей.

«Дамы, — восклицает папа, — вы еще не спите?» Он заходит на кухню в начищенных до блеска туфлях и щегольском костюме, его лицо сияет широкой улыбкой, в руке — пакетик, который он вручает мне, звонко чмокнув меня в лоб. «Представьте, я снова выиграл», — с гордостью говорит он. Играет ли папа с друзьями в карты или бильярд, он всегда делится выигрышем со мной. Сегодня он принес мне *птифур*^{*}, облитый розовой помадкой. Будь на моем месте Магда, мама в своих неустанных заботах о ее весе тут же конфисковала бы его. Но пирожное предназначено мне, и она кивком позволяет мне умять его.

Мама распрямляется, чтобы перейти от плиты к раковине, но папа перехватывает, кладет ее руку себе на плечо и кружит маму по кухне. Она покорно вальсирует с ним, но как-то нехотя и механически, словно через силу. На ее лице ни тени улыбки. Папа притягивает ее к себе, обнимает одной рукой за спину, а второй игриво касается ее груди. Но мама поводит плечами и отстраняется от него.

«Для твоей матери я сплошное разочарование», — вполголоса жалуется мне папа, когда мы выходим из кухни. Интересно, он хотел, чтобы мама тоже его услышала,

* Птифур (*фр. petit four* — маленькая печь) — небольшое сдобное печенье (или маленькое пирожное) с повышенным содержанием сахара, жира и яиц. *Прим. ред.*

или предназначает эту тайну только для моих ушей? Как бы там ни было, я мотаю на ус его слова, чтобы потом как следует обдумать. Но горькие нотки в его голосе пугают меня. «Она желает каждый вечер ходить в оперу, ей подавай красивую жизнь, как у этих космополитов, граждан мира, словно она одна из них. А я кто? Всего лишь портной. Портной и бильярдист».

Меня смущает папин сокрушенный тон. У нас в городе папу все знают и любят. Балагур и весельчак, он всегда улыбается, и со стороны кажется, что хорошее настроение никогда не изменяет ему. Он полон жизни, ему нравится быть на виду, и с ним не соскучишься. У него множество друзей, и он частенько пропадает в их компании. И еще он большой любитель поесть, в особенности свиную ветчину; он тайком приносит ее к нам домой и ест прямо с газеты, в которую ее завернули в лавке, не забывая подкинуть кусочек запретной свинины мне в рот, а после терпит суровые мамины попреки, что он подает ребенку дурной пример. Его швейное ателье удостоено двух золотых медалей. Он не просто мастер кройки и шитья, безупречных швов и ровных кромок. Он художник-модельер. Так он и познакомился с мамой: она пришла к нему в ателье заказать платье, потому что он считался лучшим мастером в городе. Правда, сам он мечтал стать врачом, а не портным, но его отец приказал ему выбросить из головы эту блажь. И время от времени папино разочарование в самом себе прорывается наружу.

«Ты не просто портной, папа, — стараюсь я ободрить его. — Знаменитый модельер — вот ты кто!»

«А ты, как подрастешь, будешь самой нарядной барышней у нас в Кошице, — в тон мне отвечает папа и гладит меня по голове. — Твоя изящная фигурка прямо создана для прекрасных нарядов».

Он уже справился с разочарованием, загнал его вглубь, в самый дальний уголок души. Мы с ним все еще стоим в коридоре, не желая расходиться по своим комнатам.

«Знаешь, я так мечтал о сыне, — говорит папа. — Представляешь, даже дверь хлопнул, когда на свет появилась ты. Места себе не находил от досады, что опять родилась девчонка. А теперь ты единственная, с кем я могу поговорить».

Папа целует меня в лоб.

Я по-прежнему дорожу его вниманием. Как и мамин, оно для меня бесценно... но и кажется предательски ненастоящим. Как будто их любви я заслуживаю не столько тем, что я — это я, сколько тем, что ею они спасаются от одиночества. Как будто моя личность ценна не своими достоинствами, а лишь как мерило всего, по чему каждый из них тоскует.

Когда я выхожу к завтраку, старшие сестры вместо приветствия заводят песенку, которую сочинили про меня, когда мне было три года и после неудачной медицинской манипуляции у меня сильно косили глаза. «Страхолюдина-малявка от горшка два вершка, не найдешь ты женишка».

За годы я усвоила привычку ходить, опустив взгляд в землю, чтобы не видеть, как прохожие глазят на мою перекошенную физиономию. В десять лет мне выправили косоглазие, и я уже могла не стесняясь поднимать голову и улыбаться посторонним людям, но уверенность в собственном уродстве, подогреваемая насмешками сестер, засела во мне глубоко.

Маге сейчас девятнадцать, у нее чувственные губы и густые вьющиеся локоны. У нас в семье она главная язва и насмешница. Когда мы были помладше, она научила меня бросать виноградины из окна нашей спальни точно в чашки посетителей кафе на террасе под нами. Средняя сестра Клара, наш вундеркинд, уже к пяти годам виртуозно исполняла концерт Мендельсона для скрипки с оркестром.

Я же привыкла к роли невидимки, молчаливого приложения к своим сестрам. Я настолько убеждена в своей ущербности, что при знакомстве редко когда называю себя по имени. «Я сестра Клары», — обычно говорю я. Мне и в голову не приходит, что Маге может надоест вечная клоунада, что Клару может тяготить ее участь юного дарования. Ведь ей не забросить скрипку ни на секунду, иначе она уже не будет выдающейся и тогда лишится всего: обожания, к которому так привыкла, своей высокой самооценки. Нам с Магдой надо ох как постараться, чтобы достичь чего-нибудь путного, причем мы обе уверены: чего бы мы ни достигли, этого всегда будет недостаточно. Но и Клара не может не тревожиться,

как бы не совершить роковую ошибку и разом не потерять все достигнутое. Она играет на скрипке, сколько я себя помню, — с тех пор, как в три года ей дали в руки инструмент. Она часто упражняется, стоя перед распахнутым окном, словно не может сполна насладиться творчеством, пока не соберет восхищенную толпу из случайных прохожих. Получается, любовь для нее имеет пределы и условия, это заслуженная награда за безупречное исполнение. У такой любви есть своя цена: труд, который прикладываешь, чтобы добиться признания и рукоплесканий, а в конечном счете своего рода уход от реальности.

На завтрак у нас сдобные булочки из пекарни по соседству, щедро намазанные маслом и маминым абрикосовым вареньем — приторным, без кислинки. Мама разливает кофе и раздает нам по булочке. Папа уже повесил на шею свой портновский сантиметр, а из его нагрудного кармана выглядывает мелок для разметки ткани. Магда поджидает момент, когда мама предложит нам вторую порцию булочек. Если я отказываюсь, сестра неизменно толкает меня в бок: «Бери давай, я съем». Клара прочищает горло, и все семейство поворачивается к ней.

«Мне надо дать ответ профессору насчет приглашения на учебу в Нью-Йорк», — говорит Клара, ножом размазывая по теплой булочке мягкое сливочное масло.

«А что, у нас в Нью-Йорке есть родня», — задумчиво произносит папа, отпивая кофе. Он имеет в виду свою сестру Матильду, которая с семьей живет в облюбованном еврейскими иммигрантами районе — Бронксе.

«Ну уж нет! — возражает мама. — Кажется, мы уже обсуждали эту тему. Америка слишком далеко».

Я вспоминаю тот давний вечер на кухне, когда мама говорила, что мечтает увидеть Америку. Может быть, жизнь в том и состоит, чтобы все время разрываться между тем, чего у тебя нет, но очень хочется, и тем, чего не хотелось, но оно есть.

Клара упрямо выпячивает подбородок: «Если не в Нью-Йорк, тогда в Будапешт».

Мама собирает со стола посуду, и вид у нее понурый. Ради будущего своей любимицы она должна отпустить ее на учебу, а значит, от себя. А может, не желание ее дорогой Клары уехать из дома печалит маму, а ее собственная неуступчивость. Возможно, она злится на себя за сказанное категоричное «нет», когда всем существом хотела сказать «да».

Зато решение Клары ехать на учебу, как и вызванные им мамы тревоги, нисколько не испортило папиного вечно безоблачного настроения.

«Мы еще потолкуем об этом, — говорит он, развеивая мрачную тучу, снова нависшую над нашим столом. Затем поворачивается ко мне. — А ты, Дицука, отнеси в школу деньги, пора платить за твою учебу». И передает мне конверт.

Я держу в руке конверт и проникаюсь важностью поручения и оказанным мне доверием. С другой стороны, дав мне это задание, папа невзначай напоминает, сколько наша семья тратит на меня. И оставляет открытым вопрос,

какую пользу я приношу взамен. Я не выпускаю конверт, пока складываю портфель к школе. Как будто, зажатый в руке, он поможет мне в точности прочувствовать, что я значу для родных, изобразить на карте размер и границы моей ценности.

Больше всего я люблю одиночество, когда никто не мешает мне уйти в мой внутренний мир, и потому я ценю время, которое трачу на дорогу в свою частную еврейскую гимназию. По пути я репетирую па к вальсу «На прекрасном голубом Дунае». Мы разучиваем этот танец, чтобы всем балетным классом выступить на речном фестивале.

Я думаю о нашем балетмейстере и о его жене, о чувстве, которое охватывает меня, когда я через две-три ступеньки взлетаю по лестнице в студию, сбрасываю школьную форму, натягиваю балетный купальник и трико. Балетом я занимаюсь с пяти лет — с тех пор, как мамино чутье подсказало ей, что, обделенная музыкальными талантами, кое-какими другими я все же одарена. (Родители честно попытались приобщить меня к музыке на старой скрипке Клары, ровно до тех пор, пока мама с возгласом «Хватит!» не вырвала инструмент из моих рук.) Зато балет я полюбила сразу же. От дяди с тетей я получила в подарок балетную пачку и в ней заявила на первый урок. Как-то так вышло, что, оказавшись в студии, я нисколько не застенялась, а сразу направилась прямиком к пианисту, который аккомпанировал на занятии, и уточнила, какие произведения он собирается

исполнить. «Ты, главное, танцуй, малышка, а о музыке я уж как-нибудь позабочусь».

К восьми годам я посещала балетную студию уже по три раза в неделю. Мне всегда нравилось делать что-то свое, независимо от сестер. Нравилось жить в своем теле. Нравилось тянуть шпагат, тем более что балетмейстер не уставал повторять нам, что сила и гибкость неразрывно связаны и что, когда одна мышца напрягается, другая должна расслабиться, что для хорошей растяжки и пластичности нужен крепкий костяк. Я как молитву твердила про себя его наставления. Я опускалась на шпагат: позвоночник выпрямлен, мышцы пресса напряжены, ноги врозь. Я знала, что, если застряну на полпути, самое важное — правильно дышать. Я представляла себе, как мое тело натягивается, словно струны на скрипке сестры в поисках той единственно верной силы натяжения, при которой инструмент зазвучит. И вот я села на шпагат. «Браво! — аплодировал мне балетмейстер. — Молодец». Он подхватил меня и поднял высоко над головой. Ах как трудно держать ноги вытянутыми в струнку, когда лишаешься опоры, но на миг я вдруг ощутила себя бесценным сокровищем. Я словно вся сияла. «Запомни, Эдитка, — сказал мне учитель, — все силы и эмоции в жизни ты будешь черпать изнутри». Тогда я еще не очень понимала, что он имеет в виду. Зато знала, что умею держать дыхание, крутить пируэты, делать прогибы и высокие батманы. Знала, что мои мышцы растягиваются, крепнут и что каждым своим движением, каждой позой я словно

во всеуслышание заявляю о себе: «Я есть, я есть, я есть. Я — это я, вот я какая. Я личность».

Воображение включается на полную мощь. Меня уносит в вихре фантазий, и я придумываю собственный балет, рассказывающий, как мама познакомилась с папой. Я танцую за них обоих. При виде входящей в ателье мамы папа исполняет забавный двойной прыжок. Мама кружится в пируэтах и взлетает в прыжках еще выше папных. Я выгибаюсь дугой, изображая радостный смех. В жизни не видела, чтобы мама по-настоящему веселилась, не слышала, чтобы хоть раз она от души расхохоталась, но сейчас мое тело переполнено ее невыплеснутым смехом.

Придя в школу, я не нахожу конверт с деньгами за учебу. Он исчез. Наверное, в своем танцевальном экстазе я его где-то обронила. Я проверяю все карманы, все складки одежды. Конверта нет. И весь день я леденею от ужаса в ожидании момента, когда мне придется сознаться папе, что я потеряла доверенные мне деньги.

Дома тем вечером я долго собираюсь с мужеством, чтобы признаться во всем, и решаюсь лишь после ужина. Папа замахивается на меня зажатым в руке ремнем и отводит взгляд. Он не желает меня видеть. Это первый раз, когда он меня ударил: ни на кого из нас он прежде никогда не поднимал руку. Он ни слова не говорит мне после того, как наказал.

Я заползаю в постель раньше обычного, так и не закончив домашнее задание. Спину и попу все еще будто жжет огнем. Но сильнее, чем боль от порки, меня мучит осознание, что во мне есть что-то неправильное. Придет время, и я выясню, что живость фантазии, те тайники моей души, в которых я ищу уединения, — это мое спасение, место силы, что поможет мне выжить, но пока игры моего воображения кажутся мне чем-то ненормальным. Страшным изъясном.

Я беру к себе под одеяло свою куклу. Ее зовут Малютка. У нее длинные темные кудри и ясные зеленые глаза, которые она умеет открывать и закрывать. Они такого же цвета, как у папы. Она прекрасна, и она моя любимица, самое драгоценное, что у меня есть. Я шепчу в ее изящное фарфоровое ушко: «Вот бы я сейчас умерла, и пускай он мучится, что так обошелся со мной» — и крепко зажимаюсь в темноте.

Малютка помалкивает, словно погрузившись в раздумья о переполняющей меня злости на папу и на самую себя. Я выращаиваю в себе гнев на него. Подстегиваю, раздуваю до небес, раскаляю. Мне даже доставляет удовольствие говорить о нем самые гадкие, самые невозможные вещи.

«Ну нет, — шепчу я в кукольное ушко, и мой голос прерывается от слез. — Пусть он... — Я даю своей злобе достичь крещендо. — Пусть он...» Нет, я все-таки произнесу ту самую жестокую, самую страшную вещь, какую только смогла придумать. Слова настолько ужасны, что

мне уже никогда не взять их назад. Я пока не осознаю их смысла, но они будут преследовать меня, снова и снова звучать в моей голове ночами, гораздо более страшными, чем эта, во времена, гораздо более беспросветные, чем сейчас.

«Пусть папа умрет», — вот что я говорю.

Ночью Малютка хранит молчание. Веки ее красивых глаз опустились, точно кто-то быстро задернул занавес.



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

